Глазами клоуна

Автор:
Генрих Бёлль

Глазами клоуна

Генрих Бёлль

Зарубежная классика (АСТ)

«Я клоун и собираю мгновения», – говорит о себе Ганс Шнир, нищий артист, «свой среди чужих, чужой среди своих», блудный сын богатого общества крупных буржуа, герой одной из лучших, самых пронзительных и горьких европейских книг XX века.

Действие впервые опубликованного в 1963 году романа Бёлля, который критики называли «немецким «Над пропастью во ржи», происходит в течение всего лишь одного дня жизни Ганса, но этот день, в котором события настоящего перемешаны с воспоминаниями о прошлом, подводит итоги не только жизни самого печального клоуна, но и судьбы всей Германии, – на первый взгляд счастливой и процветающей, а в действительности – глубоко переживающей драму причастности к побежденному, но еще не забытому «обыкновенному фашизму»…

Генрих Бёлль

Глазами клоуна

Не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают.

Посвящается Аннемари

Heinrich B?ll

ANSICHTEN EINES CLOWNS

Originally published in the German language as «Ansichten eines Clowns» by Heinrich B?ll

Перевод с немецкого Р. Райт-Ковалевой

Печатается с разрешения издательства Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG.

I

Уже стемнело, когда я приехал в Бонн, и я заставил себя хотя бы на этот раз не поддаваться тому автоматизму движений, который выработался в поездках за последние пять лет: вниз по ступенькам – на перрон, вверх – с перрона, поставить чемодан, вынуть билет из кармана пальто, поднять чемодан, отдать билет, к киоску – купить вечерние газеты, выйти на улицу, подозвать такси. Пять лет я почти ежедневно откуда-то уезжал и куда-то приезжал, взбегал и сбегал по ступенькам утром, сбегал и взбегал по ступенькам вечером, звал такси, искал по карманам мелочь, расплачивался с шофером, покупал вечерние газеты в киосках и в каком-то уголке сознания наслаждался точно заученной небрежностью этого автоматизма. С тех пор как Мари бросила меня, чтобы выйти замуж за Цюпфнера, за этого католика, все мои движения стали еще более автоматичными, хотя небрежность сохранилась. Расстояние от вокзала до гостиницы можно измерить точно, по счетчику такси: в двух, трех, в четырех марках от вокзала. Но с тех пор как Мари ушла, я иногда все же выпадал из ритма, путал гостиницу с вокзалом: около портье нервно искал проездной билет, а у контролера спрашивал номер комнаты, и только какая-то сила – видимо, ее и зовут судьбой – всегда заставляла меня вспоминать о моей профессии, моем положении. Я – клоун, официальное наименование моей профессии – комический актер, ни к какой церкви не принадлежу, мне двадцать семь лет, и один из моих номеров так и называется: «Приезд и отъезд»; это такая (может быть, слишком

длинная) пантомима, когда зритель до последней минуты путает – отъезд это или приезд; так как я обычно репетирую этот номер в поезде, а он состоит примерно из шестисот трюков, и всю их хореографию я, разумеется, должен помнить наизусть, то немудрено, что я иногда становлюсь жертвой собственной фантазии: вдруг лечу в отель, ищу расписание поездов, нахожу его, ношусь по лестницам, чтобы не опоздать на поезд, тогда как мне только и нужно было бы подняться в номер и подготовиться к выступлению. К счастью, почти во всех отелях меня знают: за пять лет создается ритм, в котором гораздо меньше вариаций, чем можно предполагать, а кроме того, мой агент хорошо знает мой характер и старается устранить возможные трения. То, что он называет «утонченной артистической натурой», окружается исключительным вниманием, и «атмосфера уюта» обволакивает меня, лишь только я захожу к себе в номер: стоят цветы в красивой вазе, и, как только я сбрасываю пальто, а башмаки (ненавижу башмаки!) летят в угол, хорошенькая горничная приносит мне кофе и коньяк, готовит ванну и наливает туда душистый сосновый экстракт, успокаивающий нервы. В ванне я читаю газеты – какие поглупее, иногда штук шесть, а три уж наверняка – и негромким голосом напеваю исключительно духовные мелодии: хоралы, псалмы, мессы, которые я помню еще со школьных лет. Мои родители, правоверные протестанты, поддавшись послевоенной моде примирения всех вероисповеданий, определили меня в католическую школу. Сам я неверующий, даже в церковь не хожу и церковные напевы использую в чисто лечебных целях: они мне помогают лучше всяких лекарств от двух моих врожденных болезней – меланхолии и мигрени. С тех пор как Мари переметнулась к католикам (хотя она и сама католичка, но мне кажется, что это слово тут очень кстати), моя хворь разыгралась еще сильнее, и даже «Tantum Ergo»[1 - «Tantum Ergo [sacramentum] …» – «Эту Тайну Пресвятую…» (лат.)] или акафист Деве Марии – мои любимые лекарства – почти не помогают. Есть временное лекарство – алкоголь; есть то, что могло бы дать полное выздоровление, – Мари, но Мари меня бросила. Если же клоун запьет, он больше рискует сойти на нет, чем пьяный кровельщик – упасть с крыши.

Когда я пьян, то все движения, которые оправдываются лишь точностью выполнения, я делаю неточно и совершаю самую ужасную ошибку, какую только может сделать клоун: смеюсь над собственными трюками. Страшное унижение. Пока я трезв, страх перед выступлением растет до той минуты, как я выхожу на сцену (обычно меня приходится выталкивать из-за кулис), и то, что некоторые мои критики называли «задумчиво-иронической веселостью», за которой слышится «тревожное биение сердца», на самом деле было просто холодным отчаянием, с каким я делал из себя марионетку; плохо, конечно, когда нитка обрывалась и я оставался наедине с собой. Вероятно, монахи в состоянии

медитации испытывают что-то подобное; Мари вечно таскала с собой всякие мистические книжонки, и я помню, что слова «пустота» и «ничто» встречались там очень часто.

Но в последние три недели я по большей части был пьян и выходил на сцену с ложной самоуверенностью; последствия сказались раньше, чем у лентяя школьника, который еще может тешить себя какими-то иллюзиями до получения годовых отметок – в течение полугода еще есть время помечтать. А я уже через три недели не находил у себя в номере цветов, в середине второго месяца номер был без ванны, в начале третьего месяца гостиница была в семи марках от вокзала, а заработок был срезан на две трети. Вместо коньяка – простая водка, вместо варьете – какие-то сомнительные ферейны, собиравшиеся в темных зальцах, где мне приходилось выступать на отвратительно освещенных подмостках, и я не то что работал грубо, а просто выкидывал разные штучки, потешая юбиляров-железнодорожников, почтовиков или акцизных, католических домохозяек или евангелических сестер милосердия, а налакавшиеся офицеры бундесвера, которым я скрашивал прощальный ужин после переподготовки, не знали, можно ли им смеяться или нет, когда я заканчивал свой номер «Совет обороны». А вчера в Бохуме, имитируя Чаплина перед какой-то молодежной организацией, я поскользнулся и не мог встать. Зрители даже не засвистели, только сочувственно перешептывались, и когда наконец опустился занавес, я прохромал со сцены, собрал вещички и, не сняв грима, поехал в свой пансион, где поднялся страшный крик, потому что хозяйка отказалась одолжить мне денег на такси. Шофер успокоился и перестал ворчать, только когда я ему отдал свою электрическую бритву – не в залог, а в уплату. У него еще хватило любезности выдать мне две марки и начатую пачку сигарет. Не раздеваясь, я повалился на неубранную постель, допил початую бутылку и впервые за несколько месяцев не почувствовал ни меланхолии, ни мигрени. Я лежал на кровати в том состоянии, в каком, если Бог даст, и окончу свои дни, – пьяный и как будто в канаве. Я бы отдал последнюю рубаху за глоток водки, и только сложные перипетии такого обмена удерживали меня от этого шага. Спал я превосходно, крепко, и во сне тяжелый занавес сцены, как мягкий плотный саван, обволакивал меня благодетельной темнотой. И все же сквозь забытье и сон я ощутил страх пробуждения: на лице грим, правое колено распухло, жалкий завтрак на пластмассовом подносике, а рядом с кофейником телеграмма моего агента: «Кобленце и Майнце отказали вечером позвоню Бонн Цонерер». Потом звонок здешнего администратора, он только сейчас отрекомендовался как представитель Христианского союза просвещения.

– Говорит Костерт, – сказал он ледяным голосом холуя, – надо обсудить вопрос о гонораре, господин Шнир.

– Пожалуйста, – сказал я, – разве вам что-нибудь мешает?

– Вот как! – сказал он.

Я промолчал, и когда он заговорил, то его дешевая напускная холодность превратилась в примитивный садизм:

– Мы договорились платить сто марок за выступление клоуна, который тогда стоил и все двести… – Он сделал паузу: наверно, хотел, чтобы я сразу сорвался, но я промолчал, и он снова стал самим собой – обыкновенным хамом. – Я представляю общественно полезное учреждение, и совесть не позволяет мне платить сто марок клоуну, для которого и двадцать марок достаточная, я бы даже сказал, щедрая плата.

Но я и тут не стал его прерывать, закурил сигарету, налил еще жидкого кофе, слыша, как он пыхтит. Он сказал:

– Вы меня слушаете?

Я сказал:

– Да, слушаю. – И опять подождал.

Молчание – отличное оружие; когда меня в школе отчитывал директор или педагогический совет, я всегда принципиально молчал. И христианнейшего господина Костерта я тоже заставил попотеть на другом конце провода. Пожалеть меня – для этого он был слишком мелок, но на жалость к себе его хватило, и он наконец пробормотал:

– Предложите же что-нибудь, господин Шнир!

– Слушайте меня внимательно, господин Костерт, – сказал я. – Предлагаю вам следующее: вы берете такси, едете на вокзал, покупаете мне билет первого класса до Бонна, покупаете бутылку водки, приезжаете сюда в отель,

оплачиваете счет вместе с чаевыми и оставляете тут в конверте столько, сколько стоит такси до вокзала. Кроме того, вы обязуетесь перед своей христианской совестью бесплатно отправить мои вещи в Бонн. Согласны?

Он подсчитал, откашлялся и сказал:

– Но я хотел дать вам пятьдесят марок.

– Хорошо, – сказал я, – тогда поезжайте на трамвае, вам все обойдется еще дешевле. Согласны?

Он опять подсчитал и спросил:

– А вы не можете захватить вещи в такси?

– Нет, – сказал я. – Я расшибся и ничего не могу поднимать.

Видно, тут его христианская совесть все-таки зашевелилась.

– Господин Шнир, – сказал он мягко. – Простите, что я…

– Ничего-ничего, господин Костерт, я счастлив, что могу сэкономить для дела христианского просвещения пятьдесят четыре или даже пятьдесят шесть марок.

Я дал отбой и положил трубку рядом с телефоном. Я ихнего брата знаю – он непременно позвонит и снова начнет без конца распускать слюни. Лучше уж пусть сам ковыряется в своей совести. Меня и без того мутило. Забыл сказать, что, кроме меланхолии и мигреней, я обладаю еще одним, почти мистическим свойством – чувствовать запахи по телефону, а от Костерта приторно пахло фиалковыми лепешками. Пришлось встать и вычистить зубы. Я прополоскал рот остатками водки, с трудом стер грим, снова лег в постель и стал думать про Мари, про христиан, про католиков, представляя себе, что же будет дальше. Думал я и о канавах, в которых когда-нибудь буду валяться. Когда дело идет к пятидесяти, для клоуна может быть только два выхода – канава или дворец. На дворец я не надеялся, а до пятидесяти мне еще надо было как-то протянуть больше двадцати двух лет. То, что Майнц и Кобленц отказались от моих выступлений, означало, как сказал бы Цонерер, «первый сигнал тревоги», но, с

другой стороны, это соответствовало еще одному свойству моего характера, о котором я забыл упомянуть, – моей инертности. В Бонне тоже есть канавы, а кто мне велит ждать до пятидесяти? Я думал о Мари, ее голосе, ее груди, ее волосах, руках, ее движениях, обо всем, что мы делали с ней вместе. И о Цюпфнере, за которого она решила выйти замуж. Мы с ним были хорошо знакомы еще мальчишками, настолько хорошо, что, встретившись взрослыми, не знали, как обращаться – на ты или на вы, и то и другое вызывало неловкость, и до сих пор при встречах мы не могли избавиться от этой неловкости. Я не понимал, почему Мари перебежала именно к нему, но, может быть, я никогда не понимал Мари.

Я страшно рассердился, когда этот Костерт вдруг прервал мои мысли. Он стал скрестись в дверь, как собака, и повторять:

– Господин Шнир, выслушайте меня. Может быть, вам нужен врач?

– Оставьте меня в покое! – крикнул я. – Суньте конверт с деньгами под дверь и уходите домой.

Он сунул конверт под дверь, я встал, распечатал его: там лежал билет второго класса из Бохума до Бонна и деньги на такси – всего шесть марок и пятьдесят пфеннигов. Я надеялся, что он для ровного счета положит хоть десять марок, и уже подсчитал, сколько я заработаю, если к тому же сдам билет первого класса, потеряю немного и куплю билет второго класса. Выходило около пяти марок.

– Все в порядке? – крикнул он за дверью.

– Да, – сказал я, – убирайтесь отсюда, скупердяй божий!

– Но позвольте… – начал было он, и я заорал:

– Вон!

Он немножко постоял, потом я услышал, как он спускается по лестнице. Дети бренного мира не только умнее, они и человечнее этих небесных чад. Я поехал на вокзал на трамвае, чтобы сэкономить на водку и сигареты. А хозяйка еще присчитала мне расход за телеграмму, которую я вечером отправил в Бонн

Монике Сильвс, – за это Костерт платить отказался. Значит, денег на такси до вокзала у меня все равно не хватило бы. Телеграмму я послал до того, как в Кобленце отменили мое выступление. А я-то хотел отказаться первым, и меня это немного укололо. Лучше было бы, если бы я сам мог отказаться по телеграфу: «Выступать не могу, серьезно повредил колено». Что ж, по крайней мере телеграмма Монике отправлена: «Прошу приготовить квартиру на завтра сердечный привет Ганс».

II

В Бонне все идет по-другому: там я никогда не выступаю, там я живу, и такси отвозит меня не в отель, а прямо ко мне на квартиру. Надо было бы сказать: меня и Мари. В доме нет портье, которого я мог бы спутать с контролером на вокзале, и все же эта квартира, где я провожу всего две-три недели в году, мне чужая больше, чем любой отель. Пришлось удержаться, чтобы на вокзале в Бонне не подозвать такси – я настолько затвердил этот жест, что чуть не попал впросак. У меня в кармане осталась одна-единственная марка. Я остановился на ступеньках и проверил ключи: от парадного, от двери в квартиру, от письменного стола. В столе лежал ключ от велосипеда. Я уже давно задумал пантомиму с ключами: я придумал сделать целую связку ключей изо льда, которые будут таять по ходу номера.

Денег на такси не было. А мне впервые в жизни действительно было необходимо взять такси: колено распухло, и я с трудом проковылял через вокзальную площадь на Почтовую улицу – две минуты ходу от вокзала до нашей квартиры показались мне вечностью. Я прислонился к автомату с сигаретами и посмотрел на дом, где дедушка подарил мне квартиру. Элегантные апартаменты в виде составленных вместе коробочек, с изящно окрашенными балконами: пять этажей, пять разных тонов для балконов. На пятом этаже, где вся окраска в ржаво-красных тонах, находится моя квартира.

Может быть, я и тут играл пантомиму? Вставить ключ в замок парадной двери, ничуть не удивиться, что он не тает, открыть дверцы лифта, нажать кнопку «пять», с тихим шумом подниматься кверху, разглядывать сквозь узкое стекло лифта проходящие этажи, всматриваться в проходящие окна лестничного пролета: спина памятника, площадь, освещенная церковь, черная прорезь – перекрытие – и снова в слегка сдвинутой перспективе – спина, площадь, церковь, и так три раза, а в четвертый – только площадь и церковь. Вставить

ключ в замок квартиры, не удивиться, что и эта дверь открывается.

Все в моей квартире ржаво-красного цвета: двери, обои, стенные шкафы; женщина в ржаво-красном халате очень подошла бы к черной кушетке. Наверно, можно было бы найти и такую, но я страдаю не только меланхолией, мигренями, инертностью и таинственным свойством чувствовать запахи по телефону. Самое страшное мое страдание – это склонность к моногамии: есть только одна женщина на свете, с которой я могу делать то, что обычно делают мужчины с женщинами, – это Мари, и с тех пор как она от меня ушла, я живу как положено жить монаху, хотя я вовсе не монах. Я даже думал, не съездить ли мне в мою старую школу, не попросить ли совета у одного из тамошних патеров, но все эти пустосвяты считают человека существом многобрачным (оттого они так горячо и защищают единобрачие), я им, наверно, покажусь чудовищем, и их совет ограничится замаскированным намеком на те райские кущи, где, как они полагают, любовь продается за деньги. От верующих христиан других толков, как, скажем, от Костерта, я еще могу ждать всяких неожиданностей, но уж католики меня ничем удивить не могут. Я с большой симпатией относился к католикам даже в те дни, четыре года назад, когда Мари меня впервые взяла с собой в этот самый «кружок просвещенных католиков»; ей было очень важно познакомить меня с интеллигентными католиками и – конечно, не без задней мысли – обратить меня когда-нибудь в свою веру (у всех католиков есть эта задняя мысль). Но уже первые минуты в этом кружке были ужасны. Тогда я переживал очень трудный период своего становления как клоуна, мне еще не было двадцати двух, и я целыми днями тренировался. Я очень ждал этого вечера, я устал до смерти и думал, что мы проведем время весело, что будет хорошее вино, хорошая еда, может быть, танцы (жили мы прескверно и не могли себе позволить ни хорошо поесть, ни выпить вина); вместо того нас угостили дрянным вином, и все было так, как я себе представляю семинар по социологии у самого скучного профессора. Не просто утомительно, но утомительно излишне, до предела. Сначала они все вместе молились, а я не знал куда девать руки, лицо; нельзя все-таки ставить неверующего в такое положение. И они не просто читали «Отче наш» или «Аве Мария», хотя и от этого мне было бы достаточно неловко: по воспитанию я протестант и считаю, что каждый должен молиться как бог на душу положит. Нет, они еще молились по какому-то тексту, составленному Кинкелем, ужасно программному: «…и молим Тебя научить нас равно воздавать и традициям старины, и новым веяниям» и так далее, и только потом перешли к теме вечера: «Бедность в нашем обществе». Это был один из самых тягостных вечеров моей жизни. Просто не верится, что религиозные беседы должны проходить в таком напряжении. Знаю: эту религию трудно принять. Воскрешение плоти, вечная жизнь. Мари мне часто читала Библию

вслух. Представляю себе, как трудно всему этому верить. Потом я даже читал Кьеркегора (полезное чтение для начинающего клоуна), мне тоже было трудно, но не так утомительно. Не знаю, бывают ли на свете люди, которые вышивают салфеточки по рисункам Клее или Пикассо. В тот вечер мне казалось, будто эти прогрессивные католики вяжут себе из Фомы Аквинского, Франциска Ассизского, Бонавентуры и папы Льва Тринадцатого набедренные повязки; конечно, не для того чтобы прикрыть наготу, потому что среди них не было ни одного человека (кроме меня), который не зарабатывал бы по меньшей мере полторы тысячи марок в месяц. Им самим, очевидно, было так неловко, что все они к концу вечера стали разговаривать как снобы и циники, правда, кроме Цюпфнера; для него все это было настолько мучительно, что он выпросил у меня сигарету. Это была первая сигарета в его жизни, и он неумело пыхтел, пуская дым, но я заметил, что он радовался, когда дым застилал его лицо. Мне было ужасно скверно из-за Мари, она сидела такая бледная, дрожащая, а тут Кинкель стал рассказывать анекдот про человека, который, зарабатывая пятьсот марок в месяц, отлично обходился, а потом, начав зарабатывать тысячу, заметил, что жить стало труднее, а уж настоящие трудности начались, когда он стал получать две тысячи, и только дойдя до трех тысяч, он заметил, что опять вполне справляется, и тут же извлек из своего жизненного опыта мудрый афоризм: «До пятисот в месяц живется неплохо, но уже между пятьюстами и тремя тысячами наступает горькая нужда». Кинкель даже не понял, что он натворил: он трепался с олимпийским благодушием, куря толстую сигару, прихлебывая вино из стакана и пожирая печенье с сыром, пока наконец даже прелат – духовный наставник этого кружка – Зоммервильд не забеспокоился и не перевел его на другую тему. Кажется, он бросил слово «реакция» и сразу поймал Кинкеля на эту удочку. Тот клюнул, разозлился и тут же прервал свой доклад о том, что машина за двенадцать тысяч обходится дешевле, чем за четыре с половиной, причем его жена, которая обожает его безрассудно, до неприличия, и та с облегчением вздохнула.

III

Впервые я чувствовал себя почти хорошо в своей квартире – тепло, чисто, и когда я повесил пальто и поставил гитару в угол, я подумал, что своя квартира, может быть, все-таки больше, чем самообман. Я непоседа и оседлым никогда не стану, а Мари еще непоседливее меня и все же решила окончательно осесть. А раньше она начинала нервничать, если мои гастроли продолжались в одном городе больше недели.

И на этот раз Моника Сильвс была мила, как всегда, когда мы ей посылали телеграмму: она взяла ключи у привратника, все убрала, поставила цветы в столовой, набила холодильник всякой всячиной. Молотый кофе стоял на кухонном столе, тут же бутылка коньяку, сигареты, а на столе в столовой рядом с цветами – зажженная свеча. Моника бывает иногда ужасно чувствительной, просто до сентиментальности, даже может впасть в дешевку: свеча, которую она мне поставила, была в искусственных подтеках воска и наверняка была бы отвергнута каким-нибудь «католическим кружком развития хорошего вкуса», но, вероятно, Моника второпях не нашла другой свечи, а может, не хватило денег на дорогую, со вкусом сделанную свечку, и я почувствовал, что именно от этой безвкусной свечки моя нежность к Монике Сильвс доходит почти до той границы, за которой начинается моя несчастная склонность к моногамии. Другие католики ее круга никогда не рискнули бы выказать плохой вкус или сантименты, тут они не дали бы маху – во всяком случае, они оплошали бы скорее по графе «мораль», чем по графе «хороший вкус». В квартире еще пахло духами Моники – слишком терпкими и модными для нее, забыл, как эта штука называется, кажется, «Тайга».

Я прикурил сигарету Моники от Моникиной свечки, принес из кухни коньяк, из прихожей телефонную книжку и поднял телефонную трубку. Моника даже это наладила: телефон был включен. Высокие гудки показались мне стуком бесконечно огромного сердца, и в эту минуту они были мне милее морского прибоя, прекраснее львиного рыка и воя ветра. Где-то в этих высоких гудках крылся голос Мари, голос Лео, голос Моники. Я медленно положил трубку. Это было мое единственное оружие, и скоро я им воспользуюсь. Я подвернул правую штанину и посмотрел на ободранное колено: царапины были неглубокие, опухоль незначительная, я налил полный стакан коньяку, отпил половину и вылил остаток на больное колено, прохромал на кухню и поставил коньяк в холодильник. Только тут я вспомнил, что Костерт не принес водки, как мы с ним договорились. Наверно, он решил, что из педагогических соображений лучше ее не приносить и при этом сберечь для христианского дела семь с половиной марок. Я решил позвонить ему и потребовать выполнения договора. Нельзя было все спускать этой скотине, а к тому же мне нужны были деньги. В течение пяти лет я зарабатывал много больше, чем тратил, и все-таки ничего не осталось. Конечно, я мог бы и дальше подхалтуривать в пределах тридцати – пятидесяти марок за вечер, только бы колено совсем зажило; мне, в сущности, было безразлично, где выступать, а публика в этих скверных кабачках даже лучше, чем в разных варьете. Но тридцать – пятьдесят марок в день просто слишком мало. Номер в гостинице слишком тесен, при тренировке натыкаешься на стол, на шкафы, и, по-моему, ванна – вовсе не роскошь, а когда ездишь с пятью

чемоданами, то и такси не транжирство. Я опять вынул коньяк из холодильника и отпил глоток прямо из горлышка. Я не пьянчуга, но с тех пор как Мари ушла, мне легче, когда я выпью. И к денежным затруднениям я тоже не привык, и теперь я очень нервничал при мысли, что у меня осталась одна-единственная марка и никакой надежды вскорости заработать еще. Единственное, что я мог бы продать, – это велосипед, но если я действительно решусь на халтуру, он очень пригодится, можно сэкономить на такси и железнодорожных билетах. Квартира мне была подарена при одном условии: я не имел права ни сдавать, ни продавать ее. Типичный подарок богача. Всегда в нем какая-нибудь закорючка. Я заставил себя больше не пить, вышел в столовую и открыл телефонную книжку.

IV

Я родился в Бонне и знаю здесь многих людей: родственников, знакомых, бывших соучеников. Здесь живут мои родители, здесь мой брат Лео изучает католическую теологию – Цюпфнер был его крестным при обращении. Родителей мне придется повидать, хотя бы для улаживания денежных дел. Может быть, придется передать дело юристу. Этот вопрос для меня еще не решен. После смерти моей сестры Генриетты родители как родители перестали для меня существовать. Уже семнадцать лет, как Генриетта умерла. Ей было шестнадцать, когда кончилась война, – прелестная девочка, белокурая, лучшая теннисистка от Бонна до Ремагена. Тогда объявили, что молодые девушки должны пойти в войска ПВО, и в феврале 1945 года Генриетта подала заявление. Все произошло так быстро, без задержки, что я ничего не понял. Я возвращался из школы, переходил Кёльнскую улицу и увидел Генриетту в трамвае, уходившем в Бонн. Она мне кивнула и засмеялась, и я тоже засмеялся. На ней была хорошенькая темно-синяя шляпка, теплое синее пальто с меховым воротничком, за спиной – маленький рюкзак. Я никогда не видел ее в шляпке, она не хотела их носить. Шляпка ее очень меняла. Она была похожа на молодую даму.

Я решил, что она едет на пикник, хотя время для пикников было не очень-то подходящее. Но от школ можно было тогда ждать чего угодно. Нас даже заставляли решать в бомбоубежище задачи на пропорции, хотя уже слышался грохот артиллерии. Наш учитель Брюль пел с нами что-нибудь набожное и патриотическое, как он выражался, под этим он подразумевал «Высятся чертоги славы», а также «Ты видишь – алеет восток». Ночью, когда на полчаса все стихало, слышался бесконечный топот ног: пленные итальянцы (нам в школе

объяснили, что итальянцы уже не наши союзники, а работают у нас в качестве пленных, а почему – я так до сих пор и не понял), русские пленные, пленные женщины, немецкие солдаты; всю ночь они шли и шли. Никто не знал толком, что творится.

А у Генриетты и в самом деле был такой вид, будто она едет на школьный пикник. От школы можно было ожидать чего угодно. Иногда, сидя в классе, между воздушными тревогами, мы слышали сквозь открытые окна настоящую ружейную пальбу, и, когда мы испуганно смотрели на окна, наш учитель Брюль спрашивал, знаем ли мы, что это значит. Да, мы знали: там в лесу расстреливают дезертира. «Так будет с каждым, – говорил Брюль, – кто откажется защищать священную немецкую землю от жидовствующих янки». (Недавно я с ним встретился, он теперь старик, в сединах, преподаватель педагогической академии, и считается человеком «с достойным политическим прошлым», потому что никогда не был в партии национал-социалистов.)

Я еще раз помахал вслед трамваю, которым уезжала Генриетта, и прошел через наш парк домой, где родители и Лео уже сидели за столом. На обед был жиденький суп, на второе – картофель с соусом, а на третье – яблоко. И только за третьим я спросил маму, куда поехала на пикник школа Генриетты. Мама усмехнулась и сказала:

– Что за чепуха, какой там пикник! Она уехала в Бонн поступать в противовоздушные войска. Не срезай кожуру так толсто, сынок. Вот, смотри!

И она действительно, взяв кожуру с моей тарелки, поскребла ее и сунула себе в рот тонюсенький ломтик яблока – все, что она сэкономила. Я посмотрел на отца. Он опустил глаза в тарелку и молчал. И Лео промолчал, но когда я снова посмотрел на мать, она проговорила своим кротким голосом:

– Пойми, каждый должен выполнять свой долг, чтобы выгнать жидовствующих янки с нашей священной немецкой земли.

Она посмотрела на меня такими глазами, что мне стало жутко, потом с тем же выражением взглянула на Лео, и мне показалось, что она готова тут же послать и нас обоих на бой с «жидовствующими янки».

– Наша священная немецкая земля, – сказала она, – они уже в самом сердце Айфеля.

Мне хотелось засмеяться, но я расплакался, швырнул десертный ножик и убежал к себе в комнату. Я испугался и знал, почему испугался, но выразить словами не мог и только со злостью думал о проклятой яблочной кожуре. Я посмотрел на покрытую запакощенным снегом немецкую землю в нашем саду, на Рейн за плакучими ветлами, на Семигорье, и все это показалось мне какой-то идиотской бутафорией. Видел я и несколько «жидовствующих янки»: их везли на грузовике с Венусберга в Бонн на сборный пункт; с виду они были озябшие, испуганные и очень молодые. Если я и представлял себе евреев, то скорее похожими на итальянцев – те выглядели еще более озябшими, чем американцы, и слишком измученными, чтобы еще чего-то бояться. Я дал пинка стулу, стоявшему у кровати, а когда он не упал, я пнул его еще раз. Стул упал и вдребезги разбил стекло на ночном столике. Генриетта в синей шляпке с рюкзаком. Она не вернулась, и мы до сих пор не знаем, где ее похоронили. После войны кто-то к нам явился и доложил, что она «пала под Леверкузеном».

Эта забота о «священной немецкой земле» по меньшей мере забавна, если представить себе, что изрядный куш акций каменноугольной промышленности уже в течение двух поколений сосредоточен в руках нашей семьи. Семьдесят лет Шниры зарабатывают на земляных работах, которые терзают «священную немецкую землю»; села, леса, замки – все рушится под экскаваторами, как стены Иерихона.

Только через несколько дней я узнал, кто мог бы взять патент на выражение «жидовствующие янки», – это был Герберт Калик, тогда четырнадцатилетний вожак нашей школьной группы гитлерюгенда, которому мама великодушно предоставила наш парк, чтобы всех нас обучать обращению с противотанковыми гранатометами. Мой восьмилетний брат Лео тоже в этом участвовал, и я видел, как он марширует по теннисной площадке, с учебным гранатометом на плече, и лицо у него было такое серьезное, какое бывает только у детей. Я его остановил и спросил:

– Ты что это делаешь?

И он с невероятной серьезностью ответил:

– Я буду «вервольфом», а ты разве нет?

– Ну как же, – сказал я и пошел с ним мимо теннисной площадки к тиру, где Герберт Калик рассказывал историю про мальчишку, который в десять лет уже заработал Железный крест первой степени: где-то там, в Силезии, он подбил ручными гранатами три русских танка. Когда один из мальчиков спросил, как звали этого героя, я сказал: – Рюбецаль.

Герберт Калик весь пожелтел и завопил:

– Презренный пораженец!

Я наклонился и швырнул Герберту горсть золы прямо в физиономию. Все на меня накинулись, только Лео соблюдал нейтралитет – ревел, но за меня не заступался, и с перепугу я заорал на Герберта:

– Нацистская свинья!

Где-то я прочел это слово – кажется, у железнодорожного перехода на шлагбауме. Я даже точно не знал, что оно значит, но у меня было ощущение, что тут оно как раз подходит. Герберт Калик сразу прекратил драку и стал действовать официально: он арестовал меня и велел запереть в сарай при тире, среди мишеней и указок, а сам приволок моих родителей, учителя Брюля и еще какого-то нациста. Я ревел от злости, переломал все мишени и все время кричал мальчишкам, охранявшим меня: «Нацистские свиньи!» Через час меня потащили в суд, в нашу столовую. Брюль просто удержу не знал. Он твердил одно:

– Выкорчевать с корнем, с корнем выкорчевать!

Я до сих пор не знаю, про физическое уничтожение он говорил или, так сказать, про моральное. Как-нибудь напишу ему на адрес педагогической академии, попрошу разъяснить – ради исторической правды. Член нацистской партии, заместитель ортсгруппенляйтера Левених вел себя сравнительно разумно. Он говорил:

– Но примите во внимание, что мальчику еще одиннадцати нет!

И так как он действовал на меня успокаивающе, я даже ответил на его вопрос, откуда я взял это роковое слово:

– Прочитал на шлагбауме, на Аннабергерштрассе.

– Но тебе его никто не говорил? – спросил он. – Понимаешь, вслух при тебе его никто не произносил?

– Нет, – сказал я.

– Мальчик даже не понимает, что говорит, – сказал мой отец и положил мне руку на плечо.

Брюль свирепо воззрился на отца, потом испуганно взглянул на Герберта Калика. Очевидно, жест отца выражал слишком явное сочувствие мне.

Моя мать, плача, сказала своим глупым голосом:

– Он сам не знает что говорит, он сам не знает, иначе мне пришлось бы от него отречься.

– Ну и отрекайся, – сказал я.

Все это происходило в нашей огромной столовой с тяжелой резной мебелью темного дуба, с охотничьими трофеями деда на широкой дубовой панели, с кубками и тяжелыми книжными шкафами со свинцовым переплетом стекол.

Я слышал раскаты артиллерии на Айфеле, всего в каких-нибудь двадцати километрах, а иногда доносился даже стрекот пулемета. Герберт Калик, светловолосый, бледный, с лицом фанатика, играл роль прокурора и все время барабанил костяшками пальцев по буфету и требовал «жестокости, беспощадной жестокости». Меня приговорили к тому, чтобы под надзором Герберта вырыть в саду противотанковый ров, и до самого вечера, следуя шнировской традиции, я расковыривал немецкую землю, правда, вопреки этой традиции – собственноручно. Я рыл канаву через любимую дедушкину куртину роз, прямо на мраморную копию Аполлона Бельведерского, и уже радовался той минуте, когда статуя рухнет от моих землепроходческих стараний, но

радоваться было рано: статую свалил не я, а маленький веснушчатый мальчуган по имени Георг – он нечаянно взорвал и себя и Аполлона фаустпатроном. Герберт Калик прокомментировал это происшествие весьма лаконично:

– К счастью, Георг был сиротой!

V

Я выписал из телефонной книжки номера всех, кому придется звонить; слева я написал столбиком имена тех, у кого можно подзанять денег: Карл Эмондс, Генрих Белен, оба – мои товарищи по школе, первый раньше изучал теологию, а теперь стал школьным учителем, второй служил капелланом; потом Бела Брозен, любовница моего отца; а справа, столбиком же, имена тех, к кому я обращусь за деньгами только в крайнем случае: мои родители, Лео (у него я мог бы попросить, но он всегда сидел без гроша, все раздавал), потом члены «кружка»: Кинкель, Фредебойль, Блотерт, Зоммервильд; а между этими двумя столбцами – имя Моники Сильвс, его я обвел красивым узорчиком. Карлу Эмондсу придется послать телеграмму, попросить, чтобы позвонил мне. У него нет телефона. Я с удовольствием позвонил бы Монике Сильвс первой, но придется приберечь звонок к ней напоследок: наши отношения находятся в такой стадии, что проявить к ней пренебрежение было бы невежливо – и физически, и метафизически. Тут мое положение было прямо-таки ужасным: оттого что я однолюб, я жил как монах, хотел я того или нет, но так вышло само собой с того самого дня, когда Мари «в метафизическом страхе», по ее собственному выражению, убежала от меня. По правде говоря, я и поскользнулся в Бохуме почти что нарочно и упал на колено, чтобы прервать начатое турне и уехать в Бонн. Я невыносимо страдал оттого, что в религиозных книжках Мари совершенно неправильно называется «плотским вожделением». Но я слишком хорошо относился к Монике, чтобы с ее помощью утолить «вожделение» к другой женщине. Если бы в этих религиозных книжках писали «вожделеть к женщине», было бы тоже достаточно грубо, но все-таки несколько благороднее, чем это «плотское вожделение». Плоть, мясо я видел только в мясных лавках, да и там в нем мало чего было от плоти. Но когда я себе представляю, что Мари делает с Цюпфнером все то, что она должна делать только со мной, моя обычная меланхолия перерастает в отчаяние. Я долго колебался, прежде чем выписать и цюпфнеровский телефон – я поместил его в столбец, где были записаны те, у кого я денег просить не стану. Мари дала бы мне денег, она отдала бы все, что у нее есть, она пришла бы ко мне, помогла бы, особенно если бы узнала, какие напасти я пережил, но она пришла бы не одна.

Шесть лет – это очень много, и теперь ей не место ни в доме Цюпфнера, ни за его утренним завтраком, ни в его постели. Я даже был готов бороться за нее, только при слове «борьба» мне всегда представляется исключительно борьба физическая, то есть смешная – какая-то драка с Цюпфнером. Мари еще не умерла для меня, как, в сущности, умерла моя мать. Я верю, что живые бывают мертвыми, а мертвые живут, но не так, как верят католики и христиане вообще. Для меня этот мальчишка Георг, который взорвал себя фаустпатроном, гораздо больше живой, чем моя мать. Я вижу неловкого, веснушчатого мальчика там, на лужайке под Аполлоном, слышу, как орет Герберт Калик: «Не так, не так!» Слышу взрыв, какой-то короткий крик, а потом комментарий Калика: «К счастью, Георг был сиротой!» А через полчаса за ужином, у того стола, где надо мной вершили суд, моя мать сказала Лео: «Но ты-то все сумеешь сделать лучше, чем этот глупый мальчик, правда?»

Лео кивает, отец смотрит на меня, своего десятилетнего сына, но утешения в моих глазах не находит.

Теперь моя мать уже давно председательница Объединенного комитета по примирению расовых противоречий, она ездит в дом Анны Франк, а при случае даже в Америку и там выступает перед американскими женскими клубами и произносит речи о раскаявшейся немецкой молодежи тем же кротким, безобидным голосом, которым она, должно быть, напутствовала Генриетту: «Будь молодцом, детка!» Ее голос я могу услышать по телефону в любое время, но голос Генриетты – никогда. У нее был удивительно низкий голос и звонкий смех. Как-то во время игры в теннис у нее из рук выпала ракетка, она остановилась и мечтательно посмотрела в небо, а другой раз она уронила ложку в суп во время обеда; мама вскрикнула, заахала – пятна на скатерти, на платье: Генриетта ничего не слыхала, а когда пришла в себя, только вынула ложку из супа, вытерла о салфетку и продолжала есть как ни в чем не бывало; но когда она в третий раз впала в это состояние, у камина, за игрой в карты, мама рассердилась по-настоящему. Она закричала: «Опять эта дурацкая рассеянность!»

А Генриетта посмотрела на нее и спокойно сказала: «А что такое? Мне просто неохота!» – и бросила все свои карты прямо в горящий камин.

Мама выхватила карты из огня, обожгла пальцы, но зато спасла все, кроме семерки червей, эту семерку опалило с краев, и мы уже больше никогда не могли играть в карты, не вспомнив Генриетту, хотя моя мать пыталась вести

себя так, «будто ничего не случилось». Она совсем не злая, но только в чем-то непостижимо глупа и скупа. Она не могла допустить, чтобы мы купили новую колоду карт, и, наверно, опаленная семерка червей до сих пор в игре, но ничего не напоминает маме, когда попадается ей в пасьянсе. Очень хотелось бы поговорить по телефону с Генриеттой, но теологи еще не оборудовали связь для таких разговоров. Я отыскал в справочнике номер родительского телефона – вечно забываю его: Шнир, Альфонс, д-р г.?к., генеральный директор. Звание доктор гонорис кауза для меня было новостью. Пока я набирал их номер, я мысленно дошел до дома, вниз по Кобленцерштрассе, по Эберталлее, завернул налево к Рейну. Пешком не больше часу. Тут раздался голос горничной:

– Квартира доктора Шнира.

– Можно попросить госпожу Шнир?

– Кто у телефона?

– Шнир, – сказал я, – Ганс, родной сын вышеупомянутой дамы.

Она поперхнулась, подумала минутку, и через шестикилометровый кабель я почувствовал, как она растерялась. Впрочем, пахло от нее приятно – мылом и немножко свежим лаком для ногтей. Очевидно, она хоть и знала о моем существовании, но никаких точных указаний на сей счет не получала. Наверно, до нее дошли слухи: отщепенец, бунтарь.

– Могу ли я быть уверена, что это не шутка? – спросила она наконец.

– Да, вы можете быть вполне уверены, – сказал я, – а в случае необходимости я готов перечислить особые приметы моей матушки: родинка слева на подбородке, бородавка…

Она рассмеялась, сказала: «Хорошо!» – и перевела телефон. У нас дома сложная телефонная система. У отца лично три разных аппарата: красный – для шахт, черный – для биржи и белый – для частных разговоров. У мамы всего два телефона: черный – для Объединенного комитета по примирению расовых противоречий и белый – для частных разговоров. И хотя личный счет моей матери в банке выражается шестизначной цифрой, оплата телефонных разговоров (и, конечно, поездок в Амстердам и другие места) ложится на

Объединенный комитет. Горничная неверно переключила телефон, и моя мать деловито сказала по черному аппарату:

– Объединенный комитет по примирению расовых противоречий.

Я онемел. Если бы она сказала: «Госпожа Шнир слушает», я, наверно, сказал бы: «Говорит Ганс. Как поживаешь, мама?» Вместо этого я сказал:

– Говорит проездом делегат Объединенного комитета жидовствующих янки. Пожалуйста, соедините меня с вашей дочерью.

Я сам испугался. Я услышал, как мама вскрикнула и потом так всхлипнула, что я понял, до чего она постарела. Она сказала:

– Никак не можешь забыть, да?

Мне самому хотелось плакать, но я только тихо сказал:

– Забыть? Ты хотела бы этого, мама?

Она промолчала, мне только слышался этот испугавший меня старческий плач. Я не видел ее пять лет, наверно, ей теперь уже за шестьдесят. В какую-то секунду мне и на самом деле показалось, будто она может соединить меня с Генриеттой. Во всяком случае, мама постоянно говорит, что у нее, «может быть, и на небе найдутся связи», – и говорит она это с улыбкой, как теперь все любят говорить: связи в партии, связи в университете, на телевидении, в министерстве внутренних дел.

Мне так хотелось услышать Генриеттин голос, пусть бы она сказала хотя бы «ничего» или даже «дерьмо». У нее это звучало бы ничуть не вульгарно. Когда она сказала это слово Шницлеру, заговорившему о ее «мистическом даре», это слово прозвучало ничем не хуже слова «дерево». (Шницлер – писатель, из тех паразитов, которые жили у нас во время войны, и когда Генриетта впадала в забытье, он всегда говорил о «мистическом даре», но стоило ему только завестись, она просто говорила «дерьмо».) Она могла бы сказать что угодно, например: «Опять обыграла сегодня этого идиота Фоленаха» или какую-нибудь французскую фразу: «La condition du Monsieur le Comte est parfaite»[2 - Граф

чувствует себя превосходно (фр.).]. Она мне часто помогала делать уроки, и мы всегда смеялись, что чужие уроки она делает так хорошо, а свои так плохо. Но вместо ее голоса я слышал только старческие всхлипывания мамы и спросил:

– А как папа?

– О-о, – сказала она, – он постарел… постарел и стал мудрее.

– А Лео?

– О, Лэ, он очень прилежен, очень, – сказала она, – ему предсказывают блестящую будущность в теологии.

– О Господи, – сказал я, – только подумать, Лео – будущий богослов!

– Да, нам тоже было довольно горько, когда он перешел в католичество, – сказала моя мать, – но ведь дух человеческий не признает препон.

Она уже вполне овладела своим голосом, и вдруг у меня мелькнул соблазн спросить ее о Шницлере, который по-прежнему к нам шляется. Это был полноватый холеный малый, и в те дни он вечно разглагольствовал о благородном европейце, о самосознании германцев. Из любопытства я как-то прочел один из его романов – «Любовь французов», он оказался гораздо скучнее, чем обещало название. Потрясающей оригинальностью в этом романе было только то, что герой – пленный французский лейтенант – был блондин, а героиня – немецкая девушка с Мозеля – брюнеточка. Этот тип каждый раз вздрагивал, когда Генриетта говорила при нем «дерьмо», – кажется, это случалось раза два, – но утверждал, что «мистическому дару» вполне может сопутствовать «неодолимая потребность швыряться скверными словами» (хотя у Генриетты никакой «неодолимой потребности» не возникало, и она вовсе не «швырялась» этим словом, а произносила его как-то походя), и в доказательство этот Шницлер притаскивал пятитомную «Христианскую мистику» Герреса. В его романе все, конечно, было необычайно утонченно: там «французские названия вин звучат поэтично, как звон хрусталя, когда влюбленные поднимают бокалы друг за друга». Роман кончается тайным браком; за это, однако, Шницлера не поблагодарила цензура: почти десять месяцев ему было запрещено печататься. Американцы приняли его с распростертыми объятиями, как «борца Сопротивления», взяли на службу по линии культуры, и теперь он рыскает по

всему Бонну и при всяком удобном случае рассказывает, что нацисты запретили ему печататься. Такому лицемеру и врать не надо; он всегда найдет себе теплое местечко. А ведь это он заставил маму послать нас на военное обучение – меня в юнгфольк, а Генриетту в Союз германских девушек: «В этот час, сударыня, мы все должны держаться заодно, думать заодно, страдать заодно». Как сейчас вижу: он стоит у камина с отцовской сигарой в руке. «То, что я стал жертвой некоторой несправедливости, ни в коей мере не затемнит моей ясной, вполне объективной точки зрения, что наш фюрер… – голос у него по-настоящему дрогнул, – наш фюрер уже держит в руках наше спасение». И сказано это было за несколько дней до того, как американцы взяли Бонн.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«Tantum Ergo [sacramentum] …» – «Эту Тайну Пресвятую…» (лат.)

2

Граф чувствует себя превосходно (фр.).

Купить: https://tellnovel.com/bell-_genrih/glazami-klouna

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити